

*Любви все возрасты покорны...*



**Завтрак  
для Маленького принца**

*Роман*

**НАТАЛИЯ  
МИРОНИНА**

Счастливый билет

Наталия Миронина

**Завтрак для Маленького принца**

«ЭКСМО»

2016

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

**Миронина Н.**

Завтрак для Маленького принца / Н. Миронина — «Эксмо»,  
2016 — (Счастливый билет)

Больше двенадцати лет Татьяна счастливо жила в браке – и вдруг муж заявил, что все эти годы у него был сын, с которым муж активно общался, равно как и с его матерью. И теперь этот сын – о ужас! – поселится в их доме. По женским меркам такое преступление не имеет срока давности, но Таня простила мужа, взялась воспитывать мальчика Сашу, вложив в это всю душу. И муж снова удивил, сообщив, что уходит из семьи и женится на матери Саши, потому что любовь не угасала... Дважды брошенная мужем сорокалетняя Татьяна осталась одна. Нет, не одна – с Сашей, который с нежностью и заботой принялся вытаскивать ее из страшной депрессии...

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

© Миронина Н., 2016  
© Эксмо, 2016

## Содержание

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Он                                | 6  |
| Глава первая                      | 6  |
| Глава вторая                      | 13 |
| Глава третья                      | 28 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 31 |

# **Наталия Миронина**

## **Завтрак для Маленького принца**

© Миронина Н., 2016

© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2016

## Он

### Глава первая

Я терпеть не могу женщин. Даже самых красивых. Не люблю я их мелкие тайны, спрятанные под тесной одеждой, тугими ляжками, шершавыми панцирями утягивающего белья. Их мысли, поступки, манеры мне неприятны – как ни прячься, а натура даст о себе знать.

И мужчин я не люблю. Разницы между опрятным хамом и неумытым тихим лохом для меня нет никакой. Существуют какие-то срединные варианты – не может же быть в этом мире все так безнадежно, – но я их не вижу.

Когда-нибудь я женюсь. Но это будет еще очень не скоро, и сделаю я это, вероятнее всего, из-за будущих детей. Надо же наконец увидеть свое отражение. Пока же мне хватает сил только на то, чтобы никого не любить. Особенно в тот ранний час, когда приходится возвращаться с работы в переполненном вагоне метро. Я стараюсь забиться в угол, не хочется привлекать внимание к себе. Я выгляжу слишком странным, слишком эффектным, слишком другим. Метр восемьдесят пять, бронзовый загар, белые выющиеся волосы почти до плеч. Добавьте к этому фигуру пловца с осанкой и гибкостью танцовщика. В московском метро ранним утром я смотрюсь нелепо, как человек-праздник, и еле себя за это терплю.

В семь утра заканчивается мой рабочий день, и я возвращаюсь домой. Я – артист, хотя кое-кто из знакомых за глаза называет меня весьма неприличным словом. Но я все равно артист, просто выступаю в стриптиз-клубе. Если мне приходится делать такое признание, то на лицах собеседников возникают одновременно две мины – любопытства и конфуза, и в этот момент мне кажется, что все мы застряли где-то в тех временах, когда слово «труссы» произносили вполголоса. Сам я эти времена не застал – мне только двадцать пять – и не перестаю удивляться, что в две тысячи десятом году стриптиз может вызывать такое смущение. В нашей жизни есть более неприличные вещи, от которых становится не по себе и которые вгоняют в краску. Например, драка между мужчиной и женщиной. Я наблюдал такую во дворе нашего клуба – ревнивый любовник застучал свою даму у нас на премьере. Что было неприличней – почти голые мужики на сцене с «волшебными палочками» в руках или козел, который таскал свою девушку за волосы? Для меня ответ на этот вопрос очевиден.

Пока я еду в метро, изо всех сил стараюсь не заснуть – вид спящего человека в общественном месте отвратителен, лицо хочется прикрыть носовым платком. Я еду и думаю о том, что же должно произойти в моей жизни, чтобы это мерзкое ощущение неприязни ко всем и ко всему наконец оставило меня в покое. В этот момент я могу послать к дьяволу любого, кто посоветует мне «заняться делом» или «на худой конец, пойти укладывать асфальт».

Тогда, почти тринадцать лет назад, все происходящее казалось мне неприятным. Но сейчас, имея собственные отрывочные воспоминания, слушая рассказы близких людей, узнавая всплывающие до сих пор детали, я вполне оцениваю степень эмоционального накала, который мог быть сопоставим только с классической греческой трагедией. Это сейчас я понимаю, в какой смертельно безвыходной ситуации оказались взрослые неглупые люди, поверившие, что любовь вполне себе оправдание для безрассудства и лжи.

В моей семье было два с половиной человека: я, моя мать и мой отец – та самая половина, которая с нами не жила и появлялась у нас в доме ровно три раза в неделю. История моих родителей была проста: он, тридцатидвухлетний, женатый, встретил ее, совсем девчонку, приехавшую из Кемерова учиться. Отец влюбился без памяти, уговорил ее остаться в Питере,

снял квартиру, устроил на работу. Все обещал развестись с женой, но, как это всегда бывает, всевозможные обстоятельства, а прежде всего трусость и страх, мешали это сделать. Но вот появился я. Отец, счастливый – в его семье детей не было, – делил свое внимание между двумя домами.

За эти три дня, которые отец проводил в нашем доме – обычно понедельник, среда, пятница, – я успевал сделать все, что полагалось сделать за неделю. Мы делали домашнее задание наперед, учили немецкие слова, тренировали память, а самое главное, именно отец возил меня через весь город на занятия балетом. Эта идея отдать пацана в хореографическую школу принадлежала тоже ему. Я плохо помню все доводы матери, которая предпочла бы видеть меня в хоккейной коробке, но отца было не переспорить.

– Люся, поверь мне, у нас в Питере лучшая хореографическая школа мира. У парня – способности. Мне сказали об этом сразу три человека. Ты представляешь, как мы будем жалеть, если упустим этот его дар?!

Люся, то есть моя мать, смотрела на отца, почти не понимая его. В ее красивой голове, голове девушки, выросшей на окраине Кемерово, понятия «мальчик» и «балет» были вещи малосовместимые. Но отец имел на нее влияние. Он – талантливый художник «Ленфильма», уже имевший за плечами несколько громких и успешных работ в кинематографе, познакомился с ней, восемнадцатилетней провинциалкой, случайно попавшей в этот красивый и интеллигентный город. Мать красива и сейчас, но тогда она была ослепительна, нужно было только взять за труд стереть с ее облика грубоватый кемеровский налет. Мой отец не был ленивым человеком и очень любил ее, так что через год вульгарная, покрикивающая молодка превратилась в сдержанную, полную достоинства женщину. Люся была прекрасной ученицей, переняла от отца не только знания, которыми он ее буквально пичкал, но и манеры, типично питерские, красивые своей лаконичностью. Через год их знакомства родился я. Мне рассказали, что отец, узнав, что у него появился сын, заплакал. Он стоял под окнами родильного дома, смотрел на Люсю, которая горделиво улыбалась, и плакал. «Наследник» – называл он меня иногда, но мне по малолетству чудилось в этом слове что-то порицающее. Что-то от слова «наследил», запачкал.

Свои появления в строго определенные дни он мне не объяснял, несмотря на расспросы. Мать тоже отмалчивалась, только как-то уж больно подчеркнуто гремела ложками и вилками. Эти разговоры велись, как правило, на кухне.

- Пап, ты куда не уедешь? – спрашивал я, давясь вечерним молоком и печеньем.
- Пока ты не заснул – куда, – честно отвечал отец.
- А потом? – не отставал я.
- Потом – придется.

Именно в этот момент мать начинала перебирать столовые приборы, очевидно, боясь, что я задам какой-нибудь неудобный вопрос. Но, скорее всего, я это понял много позднее, она этим своим бытовым шумом пыталась воззвать к чувствам отца. Но он все равно уезжал, а вскоре я перестал интересоваться этим странным обстоятельством. Тем более, несмотря ни на что, со стороны отца я чувствовал даже не любовь, а преданность, что в детском понимании куда важнее.

С малолетства мне нравились две вещи – танцы и прогулки с папой по городу. Оба этих занятия захватывали меня и лишали чувства реальности. Если с танцами все было более или менее понятно – музыка, движение, преодоление телесной оболочки и душевный полет, то второе занятие – городское бродяжничество, которое мы устраивали в хорошую погоду, увлекло меня созерцательностью, вдумчивостью и теплым партнерским молчанием. Иногда, в каком-нибудь переулке или у канала, отец вдруг останавливался и, достав маленький блокнотик, быстро делал зарисовку. Как все дети, я был чувствителен к взрослому пафосу и поведенче-

ской лжи, но за отца в этом смысле краснеть не приходилось – он был питерским, в его кровь впитались органичность поступков и деликатность жестов.

Что дали мне эти прогулки? Прежде всего, Питер. Город, детство которого мне чудилось на картинах «малых голландцев», город, который приучил меня к строгости и чистоте рисунка, город, который научил меня любить холодный ветер, пахнувший морем. С этим городом у меня сложились странные отношения – я любил его всей душой, как родной дом, но предпочел бы любить на расстоянии, как прошлое, не имеющее возврата.

Отец был мудр. Знания и чувства, переданные им, художником, могли составить душевную основу зрелого человека. Он одарил меня всем, что сам узнал через настойчивую и терпеливую работу. В нем не было педагогической скупости и дидактичности, как у большинства родителей, – он понимал, что, если я хочу достичь вершин в балете, времени на остальную жизнь у меня немного. Балет не просто занятие – это образ мыслей, распорядок жизни, это малый срок, милостиво отпущенный тебе природой. Отец не мог допустить, чтобы из меня получилась всего лишь хорошо отлаженная машина для балетной гимнастики. «Ты должен знать как можно больше об искусстве. Иначе не станцует!» Часто он расспрашивал меня о моих занятиях. Эти вопросы были почти профессиональными, но тогда я этому не удивлялся, как всякому сыну, мне казалось, что отец знает все. Сейчас же я понимаю степень его одержимости моей творческой карьерой, он готов был сам взлетать в фуэте, только бы я стал известным артистом.

Все, что происходило в доме, я не успевал замечать. Для меня вехами времени и пространства были мать, отец, школа, танцкласс. Любые иные обстоятельства проскальзывали незаметно – я слишком уставал, постоянно болели костяшки пальцев и мышцы, мало времени оставалось для обычных уроков. Но однажды, вернувшись домой, я застал такую картину. Глаза у отца были красными, а его худое красивое лицо стало серым. Мать же была вызывающе спокойна.

– Что-то случилось? – Как сейчас помню это свое несказанное удивление – отец пришел к нам во вторник, нарушив, таким образом, заведенный порядок.

Оба они промолчали. Я прошел в свою комнату, постарался заняться делами, но подслушивать тишину, которая наполняла дом, было страшно.

– Вы объясните мне хоть что-нибудь?! – не выдержал я и опять появился на кухне.

– Я уезжаю, – произнесла мать, – пока одна. Тебя срывать с занятий нельзя. На каникулы приедешь ко мне.

– Куда уезжаешь? Я буду жить один? – Эти два вопроса вырвались из меня против воли. Я понимал, что мне следует сказать совсем другое. Мне нужно было спросить об отце, на его лицо я старался не смотреть.

– Нет, ты не будешь жить один. Ты будешь жить в интернате, при училище. Как живут многие дети. Я уже звонила туда, и мне пообещали выделить тебе место. Я ведь мать-одиночка. – Она посмотрела на отца. – А мне надо вернуться в Кемерово.

– Куда? Зачем? Что там делать?!

От растерянности я не знал, что сказать. Как-то на летние каникулы я ездил туда к бабушке. После Питера, после всего, что меня окружало с рождения, этот город показался мне пустой обувной коробкой. Он был даже не скучен, а пуст и неопрятен. Окружающая природа, оторванная от примитивной урбанистической регламентированности, не вызвала во мне никакого отклика.

– Зачем? Зачем ты туда едешь?! – Я повторил вопрос, но по молчанию родителей понял, что ответ будет либо лживый, либо его не будет вообще.

Но я ошибся, недооценил своего отца.

– Мама уезжает. Она выходит замуж и будет жить теперь там, так требуют обстоятельства. – Он произнес это так, словно с его губ не сорвалось ни звука. Во всяком случае мне так показалось – слова были отдельно, отцовский рот отдельно.

– А почему...

– Понимаешь, там теперь у...

– А я? С кем буду я?! Я не хочу жить в интернате! Там живут те, кто приехал из других городов! – перебил я его. Меня охватил страх. Ничего ужасного в жизни большинства моих соучеников не было. Наоборот, они были всегда веселыми, задиристыми, спаенными той самой дружбой, которая бывает между людьми одинокими, оторванными от дома. Эта дружба позволяла им, совсем еще детям, чувствовать себя в семье. Питерские дети составляли другую группу, малочисленную, которая с интернатскими не всегда ладила. Мне сейчас предлагалось перейти из одного лагеря в другой, против воли и тем самым, скорее всего, потерять дружбу с Егором. А это произошло бы неизбежно – несмотря на занятость, у нас всегда находилось время для прогулок по городу, походов в гости, редкого бездельничанья. Живя в интернате, я подчинялся бы иному распорядку дня. Получалось, что мои родители сейчас предлагали мне потерять дом, друга, множество интересных занятий, потерять почти всю мою жизнь. Ежедневные визиты отца положения не спасали.

Несмотря на мягкость характера, я никогда не позволял себе плакать. Ни в возрасте десяти лет, когда у меня болели связки и суставы, ни когда дрался до крови с мальчишками, ни когда вместо меня, выучившего и отрепетировавшего танец, послали на конкурс другого. В тот раз это было особенно обидно и несправедливо – ради этого я отказался от участия в детской постановке, которую готовил наш класс. Надо сказать, я вообще не плакал, но сейчас, только представив себе все грядущие перемены, слезы сами покатались по лицу. И вдруг мне бросилась в глаза вся необычность нашей предыдущей жизни. Отец появлялся три раза в неделю, никогда не оставался ночевать, квартира была чужой. Он платил за нее небольшие деньги, а хозяин квартиры, его старинный друг, прочно обосновался где-то в Карелии и в Питер приезжать не думал. Жили мы замкнуто, чувствовалось немногословие матери в общении с соседями. Я внезапно понял, что в нашей жизни было много чего странного, временного, неустойчивого и виновником этого, как и много другого, хорошего, был отец. И еще я понял, что остаюсь один. Совсем один. Папа, этот преданный мне человек, растерян, ничего изменить не может, и страшное злое чувство поселилось в моей душе.

– Вы мне объясните толком что-нибудь?! Я же не щенок какой-нибудь?! И не надо меня сдавать в интернат – как беспризорника! – вдруг заорал я. – Вы скрываете что-то! Я не хочу в интернат. Я не хочу в Кемерово. Я вообще никуда не хочу.

Мне плохо запомнился последующий за этими воплями разговор. Только теперь они оба что-то говорили, объясняли, предлагали, обещали. Я слушал, сознавая, что ничего нового не узнаю. В мои двенадцать лет многое было не понятно, но благодаря крепкой дружбе с отцом, его преданности я никогда не волновался из-за очевидных жизненных несостыковок.

Мать любила отца, все надеялась на брак, но, осознав, что это несбыточная мечта, дала согласие давнему своему поклоннику, который весьма преуспел в родном городе. Там, в Кемерово, у нее будет свой дом, большой сад, обеспеченная жизнь. И не нужен ей Питер с его Невой, каналами, мостами и дворцами. Не нужен ей больше город, где родился ее сын. Не нужно ей место, которое подарило любовь, но не дало то, что так ценят все женщины, – надежность и прочность будущего. Она хотела бы взять меня с собой, но в Кемерово нет балетного училища, там вообще мало учебных заведений. А потому...

– Ты теперь будешь жить со мной. В моем доме. Пока не встанешь на ноги, не закончишь учебу. Пока не захочешь уехать, – громко произнес отец. На мать он не смотрел. Он смотрел только на меня. В этом его взгляде была боль – боль от понимания того, что именно он ранит

сейчас столько людей. Меня, мою мать, свою жену, которая, скорее всего, не догадывается о нашем существовании, особенно о моем.

Я запомнил это чувство страха. Страх, что лопнет моя голова, разорвется сердце, что я упаду прямо здесь, на кухне, между теми двумя, которые должны были любить меня настолько, чтобы не допустить того, что произошло. Этот страх недуга преследовал меня потом долго, возникая из ниоткуда и особенно докучая накануне выступлений.

Как часто одно событие помогает обнаружить многослойность жизни, которая до этого была скрыта от тебя. Как часто становишься внимательным и восприимчивым после удара током, после боли, которую испытал. Мы ехали домой к отцу. В моей голове слово «дом» теперь имело какой-то двойной смысл, и это причиняло мне неудобство. К моему удивлению, мать поехала с нами.

– Папа, это обязательно? – спросил я его тайком. Случившиеся события словно поставили нас на одну доску, стерли грани возраста и семейной субординации.

– Она так захотела. Как бы то ни было, она имеет право знать, где ты будешь жить.

– Скажи... там... – я замялся. – Там обо мне знают?

– Да, я все рассказал.

Меня успокоило, что отец ответил именно так. Во-первых, он не оказался трусом, он смог признаться при всех и избежать скандала, а во-вторых, я очень боялся слова «повинился». Тогда бы получалось, что его сын – это его вина. Сейчас, с позиции двадцатипятилетнего возраста, я понимаю смехотворность и наивность таких суждений, но в тот момент мне была важна каждая мелочь.

Дом, в котором жил отец, находился в центре. Я вспомнил, что во время наших прогулок мы этот район обходили стороной. «Не могли без меня, что ли, познакомиться?» – подумал я, войдя в кабину старого лифта. От нервного ожидания, от напряжения у меня вдруг губы стали расплываться в дурацкой улыбке. И когда на пятом этаже лифт остановился, переполошив весь дом лязгом и грохотом цепей, словно привидение, я расхохотался. Родители озабоченно переглянулись, и отец дернул меня за руку:

– Саша, успокойся! Все хорошо!

Эта фраза меня насмешила еще больше – в моем понимании хорошо никогда уже не будет. Невозможно собрать из мельчайших кусочков зеркало. Из этого можно лишь сделать мозаику, в которой все – лица, интерьеры, пейзажи – будет искажено. Я отчетливо помню, как перед дверью отец замешкался. Тогда я этому не придавал значения, сейчас я отлично понимаю причину: он не знал, как лучше, деликатнее поступить – открыть дверь своим ключом или позвонить. Открыть по-хозяйски, своим ключом, означало обидеть мать, от которой этот жест не ускользнет, позвонить – означало поступить лицемерно по отношению к жене. Все время сам открывал, а тут на тебе, как чужой. Я тогда даже не задумывался, что должна была чувствовать приятная женщина, которая внезапно открыла перед нами дверь.

– Добрый день, проходите! – Хозяйка отступила назад, в прихожую.

Сейчас я понимаю, что рос среди очень красивых людей. Мать высокая, длинноногая – ростом она была почти с отца, – с белокурыми волосами до пояса. Черты ее лица были мягкими, но высокие скулы добавляли породы, делали лицо немного нестандартным, не только красивым, но и интересным. Глаза у нее большие, синие и всегда блестящие, вроде как наполненные слезами. Ни у кого я больше не видел такого блеска в глазах.

Отец был худощав, его удлиненное лицо с немного сердитыми серыми глазами всегда выражало спокойствие. Наверное, поэтому его улыбка действовала так ошеломляюще – он преображался, превращаясь в киногероя.

Женщина, которая открыла нам дверь, совсем не была похожа на брошенную и обманутую жену. Более того, я, подросток, для которого только-только начали существовать девочки с их заморочками, не мог не удивиться поступку отца. Его жена была очень молода, почти так же, как и моя мать. Она была тоже красива, только эта красота была очень утонченной, необычной, я сказал бы, изысканной. Татьяна Николаевна, так она представилась, была небольшого роста, очень тоненькая, почти девочка. Одета в что-то темное и узкое – мой мальчиковый взгляд детали не разглядел – и коротко подстриженная. Я, приученный педагогами следить за осанкой, поворотами головы и шеи, удивился ее профилю – маленькая аккуратная головка на длинной шее. Помню, что на душе у меня стало легче – жена отца мне представлялась старой толстой теткой, которая вымещала бы на мне свою злость.

Я не знаю, что произошло между моим отцом и его женой, как она встретила его признание, что она ему сказала и как при этом себя вела, но сейчас, увидев на пороге своей квартиры нашу троицу, она была спокойна, сдержанна и уважительна. Она отступила на шаг, давая возможность нам войти, и специально улыбнулась мне. Я уловил еле заметное движение ее руки – она, видимо, хотела подать руку матери, но вовремя справилась со своими хорошими манерами.

– Добрый день... – Татьяна Николаевна посмотрела на мужа.

– Таня, это – Лю... это Людмила. – Всегда уверенный отец запнулся и покраснел.

– Здравствуйте. – Женщина не улыбаясь посмотрела на мать.

Я не помню, как мы расселись в большой квадратной комнате, что при этом говорилось, кто как себя вел. Я помню только ощущение от квартиры, от дома. Понятно, мне было слишком мало лет, я не улавливал детали и нюансы, но в тот момент я переживал одну из самых больших неприятностей в своей жизни, в тот момент рушилась моя семья, а потому я был чувствителен к воздуху, к тем волнам, которые неизбежно касались меня. И должен сказать, что в этом доме было то, чего никогда не могло бы быть в нашей с матерью квартире. Здесь, несмотря на измену, присутствовала прочность. Здесь был уклад, ненарушаемый порядок, традиции и законы. Я почувствовал, что именно здесь был дом отца. У нас с матерью этого не было, как не может быть этого всего в доме, в котором есть вечное ожидание, вечное «завтра», вечное «когда-нибудь». Тогда я это не мог внятно сформулировать, но смог это почувствовать.

Еще я обратил внимание на обстановку. Здесь всему было много лет – креслам, картинам, книгам, облепившим стену. Здесь было немного сумрачно, немного пыльно, но ощущения беспорядка или грязи не было. В нашем доме, где все было светлое, легкое, новое, малейшее пятнышко или не положенный на свое место предмет создавали ощущение хаоса.

Я помню, что пил чай. Взрослые о чем-то говорили – я не прислушивался, а тихонько изучал женщину, с которой мне предстояло жить под одной крышей. Ту, которая могла быть смертельно обижена на моего отца, могла ненавидеть мою мать и вряд ли питала теплые чувства ко мне, как к символу этой незаконной, вероломной любви. Я боялся ее, злился на себя, поймав на желании понравиться ей, не любил сейчас отца – он казался мне обманщиком, и я совсем не понимал мать, стыдясь ее яркой, невероятной красоты. Мне казалось, что она специально грозит уехать, чтобы напугать отца, чтобы подтолкнуть его к выбору, к уходу из семьи.

– Саша, ты успеешь собраться за неделю?

Вопрос прозвучал внезапно, и я, оглушенный своими мыслями и переживаниями, не понял, что надо отвечать.

– Саша, тебе же надо вещи собрать, книги... Я просто хочу перед твоим приездом сделать ремонт в комнате, которая теперь будет твоей. – Татьяна Николаевна обращалась ко мне, совершенно не замечая родителей. – Если хочешь, пойдем посмотрим ее сейчас?

Она уже встала, как бы приглашая последовать ее примеру, и мне ничего не оставалось делать. За столом, на котором гостеприимно были расставлены чашки с блюдами, тарелка с блинами, варенье и конфеты, остались растерянные мать и отец.

– Послушай, – обратилась ко мне Татьяна Николаевна, когда мы вышли за дверь, – перестань волноваться. Представь себе, что ты приехал к очень близким родственникам, погостить, пожить. Отец будет рядом с тобой, это уже здорово, мама будет писать и приезжать. Что касается меня, я постараюсь, чтобы тебе здесь было хорошо. Тем более у тебя такой сложный год. Мне все известно и про балет, и про твои выступления. Я все о тебе знаю и думаю, что мы подружимся.

– А как же вы? – Этот вопрос вырвался у меня сам по себе.

Татьяна Николаевна на секунду растерялась, но потом улыбнулась:

– Поживем – увидим, но хорошо, что такой парень появился в нашем доме.

Я не знаю, чего стоил ей этот разговор. Чего стоила эта доброта, это прощение, но с этой минуты я почему-то совершенно перестал волноваться. Моя жизнь сделала неожиданный вираж, и причиной этого снова была любовь. Но уже любовь того, другого, неизвестного мне человека, который, оказывается, много лет был влюблен в мою мать и теперь ждал ее в далеком Кемерове.

## Глава вторая

Те, кто решил заниматься балетом, живут совсем другой жизнью. И учатся они иначе, и дружат по-иному. Когда мне исполнилось шесть лет, отец меня отвел в кружок при Академии балета имени Вагановой. Желающих заниматься было много, хотя никаких гарантий дальнейшего поступления в академию не давалось. Но был престиж, была школа. Мне в кружке нравилось и давалось поначалу все легко – прыжок у меня был высокий да и гибкостью природа не обделила. Времени там мы проводили много – занятия проходили несколько раз в неделю, – и именно так я и познакомился с Егором. Мы были настолько разными, что постороннему человеку дружба между нами казалась невероятной. Но она случилась, и даже сейчас мы, потерявшие другу друга из виду, вспоминаем о ней с самыми теплыми чувствами.

Мы действительно были непохожи. Я был спокоен, терпелив, легко соглашался с любыми обстоятельствами, тогда как Егор был упрямым бунтарем, склонным к рискованным выходкам. В балет его приволокли, в буквальном смысле этого слова – мать тащила его за руку по дождливой мостовой, а он цеплялся за изгородь, скамейки и кусты. Делалось все это молча, почти без звука, с ожесточенным сопением. Его мама что-то приговаривала, пытаясь отвлечь сына, но это не имело никакого успеха. В конце концов Егора схватили в охапку, трягнули за плечи, раздели и поставили перед комиссией.

– Ну, что ты умеешь делать? Изобрази что-нибудь.

И Егор изобразил. Он, скривившийся от злости, дергал руками, ногами, подпрыгивал, извивался. На все это безмятежно взирали взрослые тети и дяди.

– Извините, он так себя вел... – восклицала потом его мама.

– Приводите его к нам. Очень артистичный мальчик и, если подростком не поправится, будет танцевать.

Позже я удивлялся, почему при таких способностях, терпении, трудолюбии и выдержке Егор так не хотел в балет. Однажды я спросил его:

– Зачем так сопротивлялся, тебе же нравится здесь учиться?

– «Только не кидай меня в терновый куст, Братец Лис!» – процитировал друг известную сказку. А потом пояснил: – Понимаешь, предки меня решили наказать за поведение в школе и дома. Если бы они знали, что я хочу в балет, ни за что бы не отдали, это точно.

Я понимающе кивнул, но поверить – не поверил. Мне показалось, что в этом ответе была обычная его любовь к позерству и сочинительству.

В кружок нас привели в шесть лет, в училище мы поступили в десять, когда перешли в пятый класс. Именно в этот год мы распрощались с обычной школой – в училище мы одновременно и занимались балетом, и получали среднее образование. В силу специфики занятий мы не тратили время и силы на переезды, дорогу – все наше обучение проходило в одном месте и было направлено на то, чтобы превратить нас в артистов балета. Мы понимали, что танцевальный век недолог – если в восемнадцать ты становишься артистом, а около сорока выходишь на пенсию, тратить свою жизнь на что-то не имеющее отношение к балету непозволительная роскошь. Занятия в училище спасли меня еще от одной неприятности – никто не догадывался о том, что отец у меня «приходящий». У нас у всех была настолько отличная от сверстников жизнь, что обращать внимание на житейские несуразности не было возможности, да порой они и не бросались в глаза. Большая часть детей была из других городов, жили они в интернате и своих родственников видели в лучшем случае раз в месяц. Формально же все правила были соблюдены – я носил фамилию отца и был записан в паспорт матери.

Мой друг так и не поправился – он вытянулся, потерял детскую рыхлость, его прыжок приобрел легкость. Егор стал танцевать почти играючи, трудных па для него как будто не существовало. И только характер, взбалмошный, упрямый, несговорчивый, мешал ему в училище.

Безобразия, на которые он был мастак, повергали в ужас администрацию и педагогов. Вызывали его родителей, ругали на педсоветах – все это имело эффект временный. Спасал Егора его талант. Он был таким очевидным, что даже мы, дети, не могли не признать этого. Перевоспитание в характер было настолько явным и ярким, что во время его танца все замирали. Я гордился другом, а он с удовольствием «пинал» меня:

– Ну, что ты как пломбир?! Сладкий, липкий, растекающийся...

Я отмалчивался – у меня была совсем другая манера выступления и слабость в характерных партиях. Но высокомерие друга и желание унижать мне не мешало. Я догадывался о какой-то обиде и... какой-то зависти. Нас в училище рано приучили смотреть на свое отражение в зеркале. Видно было, что Егор некрасив, что его темные, неукладывающиеся ни в одну стрижку вихры делают его похожим на черта, сходства добавляли смугло-желтоватый цвет кожи и маленькие глубокие глаза. На его фоне я выглядел классическим принцем из любой сказки братьев Гримм. Мы дружили, несмотря на различие в темпераменте и несмотря на его детскую злость. Когда моя семья так внезапно изменила «конфигурацию», Егор оказался ближе всех:

– Ну, Пломбир, можно, конечно, ей что-нибудь подстроить... – Его глаза загорелись азартным огнем.

– Кому? – не понял я.

Егор и сам не понял, кого он имеет в виду, но только он точно знал, что что-то надо предпринять.

– Пломбир, не дрейфь, только скажи. Можно этой, его жене... Или...

– Или... – насупился я.

– Да, ну все равно кому! Кто-то же виноват в том, что ты будешь с мачехой жить!

Егор, как всегда, произнес то, что я и так знал, но в его устах это прозвучало словно приговор. Первым побуждением было дать ему в морду, но что-то остановило меня. Я решил показать всем, в том числе и другу, что в моей жизни происходят желанные перемены. И потом, в свои двенадцать лет я понимал, что особенно виноватых здесь нет. Есть пострадавшие, заблуждавшиеся, ошибившиеся, но только не виноватые. Никого из близких считать таковым я не осмеливался.

Мой переезд, мамин отъезд, отцовская беготня между двумя квартирами – вся эта суэта неожиданно сослужила мне хорошую службу, – в присутствии друг друга нам не надо было придумывать темы для разговоров и смущаться. В нашей квартире царил хаос.

– Эти брюки ты должен носить, когда потеплеет. В холодную погоду возьми клетчатые! И свитер этот тоже наденешь в морозы гулять. – Мать сидела у шкафа и на моих глазах доставала оттуда вещи.

– Я понял. – Мне хотелось быть послушным, будто это может повлиять на исход дела. Казалось, что еще есть шанс задержать мать в Питере.

Она же продолжала деловито объяснять:

– Теперь – костюмы. Их у тебя два. Один – на выход, в училище по торжественным случаям, другой – так, можно и на занятия. – Их в полиэтиленовых чехлах мать повесила на ручку двери. – Теперь смотри – вот это футболки. Белые, для репетиций...

– Может, ты потом уедешь? Позже? Весной? – неожиданно для себя произнес я.

Она, как будто ожидая этих слов, торопливо заговорила:

– Ты не думай, не волнуйся, я буду звонить и писать, а еще приеду, как только там устроюсь, так и приеду. Тут ехать несколько дней, а можно и на самолете, так это будет совсем быстро.

– Вот и не уезжай, – упрямо повторил я.

– Я уже не могу, – вдруг тихо произнесла мать. И тон ее был такой, словно я был ее ровесником, взрослым человеком, понимающим, что такое «обстоятельства».

Я замолчал, осознав, что взрослый мир перебороть невозможно.

– Тогда приезжай побыстрей. – С этими словами я стал складывать свои вещи в коробки. Сидя спиной к матери и шурша пакетами, мне все равно было слышно, как она плачет.

Потом мы разбирали учебники, разные мелочи, спорили, что из этого мне позарез необходимо, и в разгар наших сборов звонила жена отца.

– Саша, я не могу найти твои рубашки! Или ты их еще не привозил? – как ни в чем не бывало прокричала по телефону Татьяна Николаевна. – Посмотри, они еще там, у вас?

Я слышал, как одновременно она давала задание отцу:

– У него в комнате форточка плотно не закрывается, сделай что-нибудь!

Моя мать все это время выглядела подавленной и растерянной. Словно и не было той твердости и того спокойствия, с которыми она сообщила о своем отъезде. Она складывала коробки с моими вещами, потом что-то делала на кухне, а потом махнула рукой и, указав на многочисленные кастрюли и тарелки, бросила.

– Пусть останется хозяину. В твоём доме все это есть, – сказала она отцу, сделав ударение на слове «твоём», – а я там все куплю.

Вся ее одежда уместилась в двух сумках. На удивленный вопрос отца она кивнула головой: «Да, это все!» Временность личной жизни для нее, как для женщины, видимо, выражалась еще и в этом нежелании покупать себе что-то лишнее. Словно она жила начерно, все это время готовясь по-настоящему жить, когда выйдет замуж за отца. Со мной мама старалась быть особенно ласковой, но мне тогда это показалось заискиванием, и я стал избегать разговоров. Тогда мне нужна была опора в виде ясного плана нашей дальнейшей жизни, точного рисунка отношений, графика встреч, определенных дат, в виде объяснений. Пусть и формальных, но все же объяснений. Эмоциональные причитания меня только злили и вынуждали в уме произносить фразу: «Если тебе так меня жаль, тогда останься! Пусть тот, другой, ждет или ломает свою жизнь и приезжает сюда, к нам!»

Как должна была поступить мать? Уехать вслед за своей любовью в Кемерово, приобретя, таким образом, угол, дом, семью, и забрать меня с собой, лишив возможного будущего, профессии, искусства? Или она должна была пожертвовать всем и остаться в Питере, воспитывать меня и безнадежно ждать отца, который, скорее всего, так и не ушел бы от жены? Как она должна была поступить, в каком случае она была бы права? Ни тогда, ни сейчас я не знаю ответа на эти вопросы.

Именно мой друг своим наблюдением заставил меня внимательнее присмотреться к близким людям.

– Он как старик, – как-то сказал Егор, наблюдая, как мой отец возится с какими-то коробками.

Тогда я увидел, что две продольные морщины, которые раньше придавали ему мужской шарм, превратились в тяжелые неопрятные складки, брови, серо-седые, вдруг ошетинились отдельными неровными волосками, отросшие волосы неаккуратно опускались на воротник, а руки, всегда такие ухоженные, сильные, вдруг стали жилистыми и старыми. «И ведь точно. Он – совсем другой. Совсем. Как будто бы это и не он!» – подумал я и пожалел отца своим еще неопытным сердцем. Его трагедия заключалась не только в том, что все это время он жил двойной жизнью, обкрадывающей его ежедневно, но и в том, что пришлось сознаться в измене, во лжи. С ним произошло то, что когда-то по его вине произошло с его женой, – он терял любимого человека. Терял женщину, подарившую ему сына, женщину, которую любил все это время и которой старался быть верен настолько, насколько у него это получалось.

Люди лишь подчиняются обстоятельствам места и действия. Не учись я тогда в балетном училище, а занимайся математикой или химией, моя семейная жизнь сложилась бы иначе.

Переезд к отцу состоялся в день отъезда матери. Проводив ее, мы с ним сразу поехали на Литейный. Отец по дороге молчал, только жал на газ и резко тормозил на светофорах. У меня же было такое чувство, что меня бросили, причем навсегда. Я до последнего мгновения наивно надеялся, что она выйдет из вагона, обнимет меня и останется в Питере. Но этого не произошло – мама только плакала, говорила что-то про телефонные звонки, свой адрес, бабушку с дедушкой. Я ничего не понимал, только кивал головой, еле-еле удерживая себя от того, чтобы не броситься ей на шею, не разрыдаться и не упротить ее остаться. В тринадцать лет вид уезжающей матери превращает ребенка в почти сироту.

– Ты не стесняйся, это и твой дом тоже, – наконец произнес отец, и я понял, что мы почти приехали.

Все тот же лифт так же прогремел цепями, со скрипом остановился на пятом этаже, мы вышли, но позвонить не успели, Татьяна Николаевна сама открыла дверь.

– Здравствуй, давай я тебе помогу... – Она обняла меня за плечи и стала помогать снимать куртку. Я что-то буркнул, отстранился, но потом мне стало и стыдно, и плохо, и появилась какая-то слабость. Я мысленно махнул рукой и поддался заботе этой молодой худенькой женщины.

Комната моя была удобная, мебель вся встроенная, кроме большого письменного стола.

– Раритет! – многозначительно сказала Татьяна Николаевна. – От предков остался, две войны, нет, три войны пережил.

– Сколько же ему лет?! – изумился я.

– Ну, сто с небольшим. Сам посуды – Русско-японская война, Первая мировая, Великая Отечественная... Три войны.

– А выглядит моложе...

– Мы за ним ухаживаем. Саша, иди умойся, переоденься, потом поужинаем, и ты расскажешь мне, что ты любишь из еды. Чтобы я готовила тебе, а ты с удовольствием ел.

Я снисходительно посмотрел на добрую женщину. Вся проблема была в том, что есть я мог только определенные продукты – прибавлять в весе мне категорически воспрещалось.

– О господи! – Татьяна хлопнула себя по лбу. – Какое варварство! Лишать ребенка вкусного!

Я рассмеялся:

– Привык уже.

Соврал. Или почти соврал. Мы в училище все сидели на диетах. Кто-то на строгих – это в большей степени касалось девочек: например, чтобы танцевать в дуэте, балерина не должна весить больше пятидесяти килограммов. Отклонения возможны, но очень незначительные. Кто-то практиковал диеты щадящие, с упором на белки. Кто-то экспериментировал с пищевыми добавками. Последнее не приветствовалось – последствия такого питания были непредсказуемы. В основном можно было есть яйца, куриное мясо, нежирный творог, рыбу. Фрукты, овощи, кроме картошки. И... собственно, все. Порции были маленькие. В балет должны приходиться дети с лошадиным здоровьем и сверхъестественной выносливостью, питание должно обеспечивать растущий организм, с одной стороны, и быть не калорийным – с другой, чтобы не способствовать увеличению веса. Эти ножницы можно было ликвидировать только единственным способом: нормальными здоровыми продуктами, без вредных жиров и быстрых углеводов. Но, скажите, пожалуйста, какой ребенок откажется от сладкой газировки, мороженого, конфет? Мы держались, но наступал момент, и гамбургер с молочным коктейлем съедался украдкой, чтобы никто не видел. За этим следовали конфеты, чипсы. Отрезвление наступало при обязательном взвешивании. Наказание в виде дополнительных занятий и скудного рациона следовало незамедлительно. Повторюсь, у мужчин-танцоров вес не такая беда, как у жен-

щин, и все же надо было быть начеку. В конце концов, каждый из нас выбирал свой путь, у каждого были свои рецепты и свой график питания. Я, например, никогда не ужинал в день спектакля, но позволял себе съесть шоколадку. После плотного ужина танцевать невозможно, но силы и энергия нужны.

Зимой, когда в городе свирепствовал грипп и другие инфекции, нас обязательно пичкали витаминами. Я всегда считал, что любая физическая нагрузка для организма только благо, но, оказывается, не той интенсивности, которая была у балетных. Родители учеников шепотом передавали друг другу давнюю историю одной очень талантливой ученицы, которая умерла от кори – болезни, от которой в наши дни, да и в те, когда произошел этот случай, никто не погибал. Но девочка погибла, потому что организм был истощен слишком большими нагрузками, ведь требования к балетным, особенно одаренным, были невысказанно высоки, а пощадить не считали возможным. Само балетное искусство – это творчество через силу, творчество преодоления. Мы, ученики, всего этого не понимали, для нас тогда различались понятия «тяжело», «больно», «хочется есть». Мы уже «впряглись», но не осознавали, что это навсегда. Вернее, надолго.

Став старше, я понял, что выбрал профессию очень жестокую, но эта жестокость заключалась не только в неукоснительном соблюдении всех балетных заповедей и правил, но и в той селекции, которой подвергаются будущие артисты. Есть еще несколько видов деятельности, где твои физические данные более важны, чем профессионализм. А точнее, где только с определенными физическими данными можно овладеть профессиональными навыками. Так происходит в спорте, авиации, космонавтике. Но все же это происходит в зрелом возрасте, когда пройти отбор среди множества кандидатов предстоит и физически, и психологически окрепшему человеку. В балете ты проходишь первую «сортировку» в возрасте десяти лет, именно в этом возрасте тебе дают аванс, и отрабатывать его надо все дальнейшее обучение. Из года в год ты испытываешь на себе давление – страх, что тебя подведут гены, наследственность, что ты вдруг «округлишься», потяжелеешь, потеряешь гибкость. Все время боишься, что подведет твой собственный организм. Поэтому втискиваешь себя в жесточайшие рамки диет, физической нагрузки и репетиций, но все равно в определенный момент тебя могут вычеркнуть из «списка». Я все время помнил об этом и почти не нарушал режима. Только иногда мне вдруг хотелось калорийную булку со сливочным маслом. Именно вид этого нехитрого лакомства нарушал мой покой и не давал заснуть по вечерам.

– Хрень, – со всей определенностью высказался мой друг Егор, когда я поделился с ним своими гастрономическими желаниями, – можно спокойно обойтись и без булок. Ты, Плюмбир, не заикливайся на еде, только хуже будет.

Сам Егор, как мне казалось, даже и не мечтал о «вкусеньком». Он с какой-то гордостью ел морковно-белковый омлет, морскую капусту и печеные яблоки.

– Я хоть на спор, хоть так просто не съем ни кусочка конфетки. За все время учебы. Да и потом тоже, – говорил он с таким видом, что сомневаться в его решительности и правдивости не приходилось. Егор даже к себе относился с какой-то злостью и требовательностью. Он свысока смотрел на всех нас, которые любили понюхать насчет голода, усталости, боли. Иногда по утрам я просто «собирал себя по частям» – интенсивные занятия накануне приводили к тому, что в мышцах скапливалась молочная кислота, именно она и вызывала эту тянущую боль. Старшие учащиеся нам рассказывали, будто пиво способствует выведению этой кислоты из организма, и поэтому этот напиток называют балетным. Мы слушали и верили, но пиво не пили.

– Фигня, – кривился Егор, – мало ли, что наплетут. Наверняка есть что-то еще, что помогает.

Семейные перемены пришлись на самый неприятный и полный неожиданностей возраст. Как ни странно, знакомясь с Татьяной Николаевной, я прежде всего подумал о том, понимает

ли она, что я живу совсем иной, отличной от моих сверстников жизнью. Первое впечатление от жены отца было неожиданное: «Такая молодая! Как с ней вести себя?!» С испугу мне показалось, что она намного моложе матери.

И этот первый ужин, и разговоры за столом, и поведение отца – все это очень быстро стерлось из моей памяти. Запомнилась только забота Татьяны Николаевны, ее расспросы про мой распорядок дня, про то, что надо приготовить к занятиям, про педагогов. Еще запомнилось, что мне хотелось быстрее остаться одному, без чужих глаз, чтобы хоть немного расслабиться, убрать с лица спокойную независимость и пожалеть себя и вдоволь повспоминать мать, представляя, как она сейчас едет в поезде. Папина жена это очень быстро поняла – как потом оказалось, она была женщиной наблюдательной и тонкой. Она ушла к себе в спальню под каким-то предлогом и увела с собой отца.

– Ложись или почитай, а хочешь – телевизор посмотри. Отдыхай, тебе же завтра рано вставать. – Она улыбнулась мне так, что я вдруг почувствовал облегчение от того, что все наконец закончилось. От того, что все тайны раскрыты, решения приняты, действия совершены и осталось лишь привыкнуть к этой новой жизни. «Отец рядом со мной. Это между ними – отцом, его женой и моей матерью – что-то произошло. А между нами все осталось по-прежнему. Он рядом, а через пару дней я позвоню маме» – эта мысль меня успокоила, и я стал укладываться спать.

И все же ночью, лежа под легким одеялом, заправленным в яркий пододеяльник, я чувствовал себя человеком, вынужденным переночевать в чужом доме.

Эти самые первые месяцы оказались самыми тяжелыми, иногда хотелось сбежать из дома. Меня, наверное, остановило только пристальное внимание отца – старался раньше приходиться с работы, в выходные никуда не отлучался, давал мне возможность привыкнуть к новому месту. Отношения с мачехой в этот момент были ужасными. Вернее, ее отношение ко мне. Но именно тогда я решил, что никогда и ни при каких обстоятельствах никому об этом не расскажу.

Через полгода жизнь в моем новом доме приобрела довольно четкие очертания. С утра перед занятиями меня кормила завтраком Татьяна Николаевна, которая быстро двигалась по кухне в легком халате. Одновременно она разговаривала по телефону, поэтому овсянку я уплетал под споры о византийском искусстве и средневековой архитектуре. Перед моим уходом ей удавалось впихнуть в мою сумку несколько яблок, сок и коробочку с зеленым салатом. В училище Егор непременно интересовался, чем сегодня можно поживиться, и, как правило, все съедал.

– Заботливая Татьяна Николаевна, – ерничал он потом, – заботливая и правильная. Все только полезное.

Я на него не обижался – характер Егор имел отвратительный, манеры оставляли желать лучшего, но он был другом. К тому же он не врал – жена отца действительно оказалась заботливой. А еще она была искренней, никогда не притворялась и делала все, чтобы мне в их доме было хорошо.

Каждый вечер Татьяна Николаевна под каким-то предлогом заходила ко мне и оставалась надолго. Сидя в углу в большом кресле, она расспрашивала меня об училище, о занятиях, о педагогах, о том, что мы готовим к экзаменам, к окончанию года. Она задавала вопросы, которые выдавали ее неподдельный интерес к тому, чем я занимаюсь. Сначала я немного стеснялся, но потом разговор меня захватывал, и в конце мы уже разговаривали громко, привлекая тем самым внимание отца, который рисовал в своем кабинете. Он присоединялся к нам, вступал в беседу, но тут же сворачивал на интересующую его тему. Татьяна Николаевна тогда, желая мне спокойной ночи, оставляла нас с отцом вдвоем. С ним уже спорили более ожесточенно или, наоборот, по настроению, все больше помалкивали, перебрасываясь редкими фразами.

Неподдельный интерес к моим делам и желание избавить меня от гнетущего одиночества и тоски по матери приводили к тому, что эти двое из самых благих намерений совершенно не давали мне спать. Наутро я клевал носом, и Татьяна Николаевна так же искренне сокрушаясь, давала бесполезное обещание не заходить ко мне позже десяти вечера.

Вскоре в нашем доме появились традиции. Например, по субботам Егора, с разрешения его родителей, забирали к нам. Мы обедали, потом отец нас вез или на рыбалку, или покататься на лодке, или просто погулять по лесу. Иногда мы устраивали вылазки в город. «Глаза соскучились по красивому!» – говорил отец и «угощал» нас историями из старого городского быта. К моему удивлению, в присутствии отца Егор вел себя нормально. Исчезала злость, ужимки, он становился каким-то солидным, спокойным. И тон, которым он разговаривал с моим отцом, был другой. В этом тоне чувствовалась расслабленность, простодушие. Мой друг не боялся показать удивление и заинтересованность. Это среди сверстников он изображал опытность, был злым, агрессивным. А в доме отца и во время наших прогулок он менялся.

– У тебя есть способности к творчеству, – как-то сказал ему отец.

– А мне говорят, что я бестолковый. – Егор поддержал разговор, что само по себе было удивительно. Обычно он на любую попытку пообщаться отвечал односложной иронией.

– Бестолковость таланту не помеха. Ты чувствуешь оттенки красоты. Это очень важно.

Этот разговор происходил у Зимней канавки, где среди снежного покрова черными тенями выделялись деревья, ограда, намокшая дорога. «Я бы «Щелкунчика» в таких декорациях поставил, – произнес тогда Егор, – необычно, а самое главное, ничего не будет отвлекать от танца. А то елки, гирлянды, огни... Нет, понятно, что сказка, а так это могло быть почти трагедией».

– Почему трагедией? – удивился отец, но от меня не ускользнул его неподдельный интерес к идее Егора.

– Что-то там с Мышиным королем недодумано... Ну зачем ему нападать на игрушки? Нет, тут что-то другое. Допустим, Мышиный король – заколдованный принц. И Щелкунчик. А Маше надо сделать выбор между ними.

– Тогда это будет балет для взрослых. И нужно придать смысловую окраску соперничеству. – Отец разговаривал с Егором, как со взрослым.

– А я не понимаю этих различий – взрослый балет, балет для детей. Слушаешь музыку, смотришь танец. Что-то непонятно – либретто почитай в программке. Самое главное – увлечь движением и характером.

– Вот именно, значит, у наших принцев характеры должны быть разными и соперничество должно быть из-за этого.

– Ну смотрите. Два заколдованных принца. Одного превратили в крысу. Другого – в уродца-игрушку. Они оба страшные, некрасивые.

– Соперничество душевного благородства? Отваги? Ума?

– Ну да... Но они грустные, печальные...

– Таня, – сказал отец за обедом, когда мы с другом согревались низкокалорийным овощным супом, – у Егора возникла отличная идея. Декорациями «Щелкунчика» сделать Зимнюю канавку.

– Надеюсь, действие будет происходить тоже зимой? – улыбнулась жена отца.

– Да, а Мышиный король и Щелкунчик – это два принца-соперника. Оба некрасивые, но очень благородные и влюбленные, а из-за своих обликов печальные, разочарованные.

– В депресняке, – пояснил Егор.

– Да это просто какой-то балетный «нуар», – осторожно, чтобы не обидеть Егора, расмеялась Татьяна Николаевна.

Отец долго объяснял, что такое «нуар», а потом плавно перешел к «новой волне», рассказывал о Годаре, Феллини. Я видел, ему доставляло удовольствие говорить о том, в чем он

отлично разбирался, ему нравилось, что у него есть такие внимательные слушатели. Еще он все время посматривал на Татьяну Николаевну, и я подумал, что они, наверное, все-таки смогли помириться

– Слушай, а у вас прикольно! – делился своими впечатлениями приятель о нашем доме, и по его виду было ясно, что это искренняя похвала.

Я горделиво соглашался – в этом доме действительно было интересно, спокойно и уютно. Правда, мой отец поменялся местами с моей матерью – теперь он был со мной каждый день. В выходные он вставал раньше всех, бегал за свежими булками, варил кофе и нас с Татьяной Николаевной встречал кучей планов. Я невольно сравнивал его поведение с тем, каким оно было раньше, когда я жил с матерью. Разница была в том, что у нас он был всегда божеством, небесным светилом, восход которого мы с матерью ждали с нетерпением и благоговением. Здесь же, рядом со своей женой, он становился ровней и иногда даже чуть ниже. Он прислушивался к ее мнению, советам, замечаниям.

– Ты опять мало работал! – укоряла его Татьяна Николаевна, и отец послушно шел в кабинет рисовать эскизы. Он очень изменился, а вернее, я стал его воспринимать иначе. Теперь, когда мы жили вместе и виделись за завтраком и ужином, у нас появились общие выходные, и отец немного отдалился. Я сначала несколько напрягся, но потом все встало на свои места. Раньше, когда он мог провести со мной лишь три дня в неделю, он это время использовал на двести процентов. Теперь, когда я ежечасно был под боком, его внимание несколько ослабло. К тому же те угрызения совести, которые отчасти руководили тем предыдущим вниманием, теперь не так сильно мучили. Чаще всего отец появлялся утром на кухне в темном махровом халате, была видна его волосатая грудь, босые ноги гулко шлепали по полу. Он целовал Татьяну, наливал себе кофе и потихоньку начинал просыпаться. Смотрел на меня, в окно, включал утреннюю музыку, спрашивал о чем-то незначительном. Я бы с удовольствием с ним поговорил, но именно утром меня что-то ужасно стесняло в присутствии их двоих, и я быстро убежал в училище. Однажды я рассказал об этом Егору, тот долго думать не стал и грубовато фыркнул:

– Пломбир, тебя смущает секс! Они же трахаются. Она, эта твоя Татьяна, молодая... А твой отец – он такой... такой крутой! Не то что ты, Пломбир!

Егор был «ранним» – в тринадцать-четырнадцать лет про секс он знал все. Или, как ему казалось, почти все. Я привык к тому, что друг называл меня Пломбиром – две наши драки не отучили его от этого, – но то, что он так точно сформулировал причину моей неловкости, меня задело. Я себе казался достаточно взрослым, не каждому же ребенку доведется пережить такую историю, но, оказывается, были еще вопросы пола, которые я не распознавал. После этого разговора с приятелем я стал внимательней, и теперь от меня не ускользали и ласковые жесты отца, и смущенная улыбка Татьяны Николаевны, и то, как она одевается дома – что-то очень обтягивающее и подчеркивающее тонкую фигуру. Я как-то не мог соединить это все – однозначную их ласковость, влюбленность отца в мою мать, его переживания по поводу ее отъезда, возможную ревность и желание реванша Татьяны Николаевны, а потому все это у меня до поры до времени смешалось в весьма причудливый винегрет. Я в том возрасте еще не мог понять, что можно любить двоих, но любить по-разному, что можно прощать даже самые смертельные обиды, что можно притвориться, можно сделать вид, что любовь забыта.

Отца в этой сложной домашней ситуации спасала работа. Творчество – великая вещь, это я теперь знаю и сам. Тогда, после моего появления и отъезда матери, отец по своей же вине оказался в очень уязвимом положении, и инстинкт самосохранения привел его к обыкновенному трудоголизму. Он брался за любую работу, участвовал в съемках фильмов, подготовил персональную выставку, что-то оформлял, что-то выставлял. Я только удивлялся этой энергии и огорчался из-за того, что времени на общение у нас оставалось совсем немного.

Впрочем, его место заняла Татьяна Николаевна. Она, искусствовед по образованию, готовилась к защите диссертации, ее письменный стол был завален альбомами, репродукциями, какими-то рефератами. Она много работала, но в ее деятельности не было ничего такого судорожного, что можно было обнаружить в занятиях отца. Татьяна Николаевна делала все с расстановкой, не спеша, словно смакуя такое непростое занятие, как научно-исследовательская работа. Меня она никогда не пытала и не ставила в дурацкое положение, подсунув под нос какую-нибудь репродукцию и спросив: «Ну-ка, скажи, чья это картина?!» Она не ужасалась моему некоторому невежеству, она вообще не обращала внимания на мой возраст и обо всем говорила как с равным. В этом не было ни капли притворства. Она была молода, подвижна, не играла роли матери или наставницы, она потихоньку становилась мне другом. Очень часто мы устраивались с ней на балконе, и Татьяна Николаевна, прикурив сигарету, произносила первую фразу, которая служила началом долгой беседы «обо всем» – о картинах, о людях, о любви, о том, как надо есть крабов и кто будет следующим президентом. С ней было легко и интересно. Но как ей вместе с этим удавалось обо мне так тщательно и бережно заботиться, как она успевала помнить про мое питание, травмы, футболки, поездки, выступление, я не понимал. В моей молодой голове женщина могла быть либо другом, либо любовью, либо... матерью.

Как бы то ни было, отношения с женой отца были прекрасными, и я отдаю себе отчет в том, что это полностью ее заслуга.

– Скажи, тебя ничего не стесняет? Тебе хорошо здесь? – как-то спросила она. В этом вопросе ничего не прозвучало про мою мать, но интонация была выбрана настолько точно, что я без труда прочел подтекст: «Я знаю, что ты скучаешь, но делаю все, чтобы скрасить эту разлуку».

– Да, – искренне ответил я.

– И мне очень хорошо. Я так рада, что ты у нас живешь! – произнесла она и отвернулась.

Я удивился этому движению, но потом все понял. Я понял, что мое присутствие подарило ей отца. Что я, этакий символ неверности, измены, обмана, тем не менее вернул в этот дом жизнь, я нес необычную «смысловую нагрузку». Именно благодаря мне (и моей матери – вот парадокс!) эти двое получили шанс. Они, находясь в положении, когда остается либо ненависть одного к другому, либо упивание одиночеством, вдруг опять обрели друг друга. Опять же много позже я понял и другое – жена отца была удивительной женщиной, наделенной редкой способностью и любить и прощать.

Шло время, я становился старше, и жизнь в этом доме потеряла пугающую новизну. Все мы – Татьяна Николаевна, отец, я – приспособились к ситуации и чувствовали себя почти спокойно. Большую роль тут, как ни странно, сыграл быт. Татьяна Николаевна старалась работать дома.

– Терпеть не могу присутственных мест! Только болтовней отвлекают! – говорила она и закрывалась часа на три у себя в комнате, чтобы, ни на что не отвлекаясь, позаниматься диссертацией. Потом она выходила в прекрасном настроении и, если я был дома, старалась меня растормошить. Татьяна много работала, но при этом с энтузиазмом и с каким-то азартом устраивала нашу жизнь самым изысканным образом. Она с удовольствием готовила большие обеды, делала перестановки, перевешивала отцовские картины, приглашала в дом интересных людей, и ко всем своим затеям она подключала нас. Именно благодаря ей я понял, как здорово выполнять противную работу по дому – все зависело от того, с кем эту работу делаешь и кто, а главное, как тебя за нее похвалит. В этом доме я впервые почувствовал вкус размеренной, красивой в бытовом и душевном смысле жизни и понял, что эта способность подробно и обстоятельно жить не берется из ниоткуда, этому учатся, это перенимают. Отец работал сразу в нескольких фильмах, иногда подолгу отсутствовал, и мы с Татьяной Николаевной оставались одни. Именно в это время я обнаружил, что жена отца заядлая театралка, любит оперу и балет,

кумиром ее всегда был Барышников. Редкие записи его выступлений она подарила мне в один из новогодних праздников.

– Почему именно Барышников? – как-то спросил я.

Она задумалась, а потом ответила:

– Видишь ли, то, что я сейчас скажу, будет очень непедagogично и может сослужить тебе плохую службу. Но ты умен и все правильно поймешь. Ты же не можешь отрицать, что Барышников как танцор – почти гений. Даже если тебе нравится Нуриев или нравился Годунов, все равно ты признаешь, что Барышников исключительной техники и исключительного артистизма танцор?

Я согласно кивнул головой. Барышников мне нравился, но мне очень хотелось знать, почему его так выделяла Татьяна Николаевна.

– Его стиль я бы охарактеризовала как лаконично-виртуозный. И вместе с тем скрытая мощь, размах. Это очень свойственно русскому балету. Но у него есть еще одно качество. Оно – то меня и привлекает. Барышников – человек дела. Он не только артист. Он – сам себе менеджер. Это не значит, что он отлично себя продает, хотя и этот момент немаловажен. Существенно то, что он в состоянии «проектировать» свою жизнь, свое творчество, свой успех. Не знаю, поймешь ли ты меня, но для меня Барышников – это Набоков в литературе. Ты читал Набокова?

Это был единственный раз, когда она задала прямой вопрос, касающийся моих знаний.

– Нет, – мотнул головой я. Когда происходил этот разговор, мне было уже пятнадцать лет, и, конечно, я мог бы что-то прочесть. Впрочем, это извечная проблема балета – непрекращающаяся репетиционная гонка, полировка мастерства – не оставляла времени и сил для чтения и других приятных и полезных занятий.

– Ты Набокова читал? – на следующий день задал я вопрос Егору.

– «Лолиту», что ли? – друг с ухмылкой скосил на меня глаза.

– Ну, – растерялся я, поскольку даже не знал, что именно стоит прочесть у этого писателя.

– Читал. Так себе. Если хочешь, полистай, но эта книжка скорее для твоего отца, а не для тебя, Пломбир.

Понятно, что после такой рекомендации книжку я прочел за пару дней, невзирая на занятость и усталость. Впечатление она на меня не произвела – для меня разница в возрасте в тот момент была чуть ли не основной преградой в отношениях. А язык Набокова и манера Барышникова в голове никак не состыковались.

– Пломбир, там дело не в языке, там дело в том, как он построил писательскую карьеру, – снисходительно объяснил мне Егор.

Мы с ним были ровесниками, но иногда он был выше меня на целых две головы.

А Татьяна Николаевна всю взялась за мое образование. Она сменила отца, который до этого старался дать все, что не успевало дать нам балетное училище. Он дома бывал редко, предоставляя возможность жене ставить на мне педагогические опыты.

– Тебе будет полезно познакомиться с драматическим театром. Лучше всего смотреть классику. И по программе надо, и за качество текстов не стыдно! – уговаривала она меня и доставала билеты на все стоящие питерские премьеры.

Наши спонтанные походы в театр вызывали у меня странное чувство. Жена отца была молода – когда я пришел к ним жить, ей было всего тридцать три года. Выглядела она еще моложе. Одевалась она модно, но в классическом стиле. Тогда, не имея возможности по незнанию углубиться в детали женской моды, я называл этот стиль «скучным». Но этот «скучный» стиль придавал ей столько обаяния, что редкий мужчина не провозжал ее взглядом. Татьяна Николаевна не была так красива, как мать. Черты у нее были мельче, тоньше, немного заост-

реннее, но лицо было необычно эффектным. Становясь старше, я все чаще задумывался о природе любви и симпатии – на моих глазах был пример отца, который умудрился полюбить двух красивых и очень разных женщин. Тогда же мне были интересны отвлеченные беседы, которые обожала заводить Татьяна Николаевна.

– Чем хороша твоя профессия? – однажды спросила она меня и заставила задуматься – я никогда не пытался рассматривать свое занятие под таким углом. Я просто любил танец, движение, музыку. Любил полет прыжка, подчиненность тела, красоту танцевального рисунка. Но все это мне нравилось по отдельности. Я не связывал это все воедино и глубже не пытался заглядывать. Она, по своей деликатности, не стала дожидаться ответа.

– Все, что связано с искусством, помогает понимать многообразие жизни. Там, где математик увидит только одно верное решение, человек искусства увидит три неправильных и все пригодные к жизни.

Она рассмеялась, увидев мое лицо. Я же остолбенел от краткости определения того, что случилось с нашей семьей. Все решения, которые принимали мои близкие, на сто процентов правильными не назовешь, но они, решения, оказались вполне жизнеспособными.

Не имея возможности, в силу возраста, вдаваться в тонкости взаимоотношений отца и Татьяны Николаевны, я пытался понять, почему он ей изменил. Я видел, что моя мать была красива, но и Татьяна Николаевна была очень интересной. Кроме того, в ней была притягательная уверенность в себе. Я часто незаметно наблюдал, как она разговаривает на профессиональные темы, как ведет себя с гостями, которые в доме бывали очень часто, и от ее живости, остроумия, хлестких метафор возникало ощущение какой-то интеллектуальной лихости. Став взрослым, я прекрасно понял, почему отец когда-то на ней женился. Будучи подростком, мне никак не удавалось взять в толк, что же ему в ней разонравилось. Я еще не знал, что существует такая вещь, как страсть.

Пока мать жила в Питере, она ни разу не приходила на мои выступления. Егор, чья мать посещала училище при каждом удобном случае, завистливо вздыхал:

– Тебе, Пломбир, повезло, тебя не пасут! Ну, вот что можно с преподам обсуждать столько времени, – тоскливо ныл он, подглядывая за беседой матери и педагога. Его можно понять – вслед за беседой последует выволочка, но Егор не прекращал испытывать терпение преподавателей. Вместе с тем чем старше он становился, тем очевиднее выделялась его индивидуальность и одаренность. Судя по всему, характер дополнял природные данные.

В училище с самых первых классов в конце четверти, в конце полугодия и года всегда устраивали спектакль. Иногда для этого выбирали фрагмент классического балета или специально написанную для этого случая постановку. Печатались афиши, готовились костюмы, шли настоящие многочасовые репетиции. Именно в эти моменты мы, еще ученики, начинали понимать, что же означает наша профессия, ради чего до головокружения повторяешь одно и то же движение и ради чего стираются в кровь ноги. В нашем классе любимой постановкой был балет для детей по мотивам «Маленького принца» Экзюпери. Музыка и либретто написал один из питерских композиторов для городского праздника, а в училище оценили мелодичность и ту легкость, с которой на нее ложились классические па. Постановку повторяли из года в год, в моем классе именно я танцевал Маленького принца, а Егор исполнял партию Лиса. С точки зрения «большого искусства» постановка отдавала самодеятельностью, но и педагогам, и маленьким исполнителям, и родителям она нравилась. Я со своим ростом даже в подростковом возрасте на «маленького принца» похож не был, но комплекция, выгодная для сцены, светлые волнистые волосы, как выразилась одна из педагогов, «общая солнечность» помогли мне с этой ролью. Мать не видела, как я танцевал в младших классах («извини, с работы не вырваться!»), отец, как правило, бывал.

Когда я переехал на Литейный, я даже и не стал никому говорить о приближающемся спектакле. Был канун Нового года, все готовились к праздничному концерту. Наш класс показывал отрывки из «Жизели» Адана. Я с одной из наших девочек танцевал па-де-де. Это был уже не «Маленький принц», это была мировая балетная классика, и мне хотелось, чтобы на сцене школьного театра я выглядел по-взрослому. Наши репетиции продолжались до позднего вечера, потом шились костюмы, была генеральная репетиция. Я был горд от того, что мне доверили одну из центральных сцен балета, но мне даже в голову не пришло сказать домашним, что такого-то числа будет выступление и можно будет меня увидеть в главной роли. Каково же было мое удивление, когда в партере нашего школьного театра, среди многочисленных зрителей-родителей я увидел Татьяну Николаевну. Она улыбалась и аплодировала мне, совершенно не догадываясь, что обычно со сцены артист не видит конкретного человека, а только массу зрителей. Ее же я заметил случайно, когда искал взглядом девочку, которая мне нравилась и которую я пригласил на свое выступление. Потом, в фойе, мы встретились – я, Татьяна Николаевна и эта девочка.

– Ты изумительно танцевал, – восторженно похвалила меня жена отца, – мне очень понравилось.

Эти слова она произнесла очень просто, без жеманства, и я вдруг почувствовал гордость за ее строгий, но изящный внешний вид, за ее осанку, красоту лица и умение держать себя. Мне было лестно, что эта женщина имеет ко мне отношение. В глубине души я был растроган тем вниманием, которое она мне уделяла, той заботой, совершенно натуральной, без обаялки, без надрыва. Я был благодарен за ту простоту и естественность, с которой протекала наша тогдашняя жизнь. Вскоре я готов был полюбить Татьяну Николаевну, как любят добрых и спокойных тетюшек.

Мать звонила часто, еще чаще писала. Она скучала, терзалась угрызениями совести, и сквозь многословие разговоров и посланий просвечивала просьба простить ее. По телефону я пытался рассказать ей наши питерские новости, отвлечь фактами, событиями от слезливости причитаний, но удавалось это с трудом. И каждый разговор заканчивался непременными моими заверениями:

– Ничего страшного, что ты уехала, у меня все хорошо. Я скучаю, но много занятий. Будет возможность, обязательно приезжай. И не волнуйся.

Мать тихо всхлипывала и оставалась там, куда уехала. Как я понял, там у нее был обещанный огромный дом, большой сад и огород. Она не работала, а старалась обеспечить уют тому самому человеку, который наконец ее дождался.

Отец и Татьяна Николаевна о матери говорили открыто, доброжелательно, подчеркивая, что ее отсутствие в моей жизни – явление временное, что это просто что-то типа командировки, за время которой ее место никто не займет. Я скучал по матери, ценил деликатность окружающих людей, но как получилось, что однажды я Татьяну Николаевну назвал «мамой», я так и не понял. Мне вспоминается, что она сама этого страшно испугалась, словно присвоила чужую вещь. Она покраснела, что-то проговорила, а потом замолчала, делая вид, что ничего не произошло. Жена отца растерялась, потому что в этом слове была и совсем другая ответственность за человека, который к тебе так обращается, и неудобство перед той, которая именовалась так по закону и по родству. Я был далек от таких тонкостей, я просто назвал так человека, который стал мне близким, почти родным; который лечил меня от ангины, перебинтовывал ступни и мазал ссадины, готовил диетические бульоны и ругал меня за ошибки в фуэте и с которым я был на одной душевной волне.

Впрочем, это случилось лишь однажды, в дальнейшем я обращался к ней так же, как и раньше, по имени-отчеству.

Чем ближе был выпускной класс, тем меньше было у меня свободного времени и тем меньше я задумывался о том, что со всеми нами произошло. В училище мы все уже привыкли к нашему расписанию – танец и общеобразовательные предметы были соединены в одно, и зачастую литература или история подавалась как часть специальности, рассматривалась через призму нашей основной деятельности. Многие предметы, которые не положено изучать в общеобразовательной школе, у нас преподавались очень подробно, и педагоги подчеркивали, что без музыковедения или истории танца стать полноценным исполнителем невозможно. К тому же нас приучили к мысли, что класс – это единый творческий коллектив, для которого учеба и профессиональная практика должны быть едины. К выпускному классу мы вполне осознали собственную исключительность и совершенно не понимали зыбкость наших творческих надежд. Мы смотрели в будущее так, словно балетов было великое множество и каждому из нас сразу же раздадут партии Дон Кихота и всевозможных Принцев. Амбициозные родители подогревали эту самоуверенность, предпочитая не замечать очевидность – афиши с фамилиями главных исполнителей можно было заказывать в типографии хоть на десять лет вперед.

Меня в училище всегда хвалили. «С таким экстерьером и таким прыжком – будущее обеспечено!» – эта фраза одной из ведущих педагогов неожиданно дала мне фору перед остальными. Мой друг Егор, отлично выступающий в характерных танцах, по этому поводу грубо шутил:

– С таким экстерьером да на собачью выставку, цены бы нам не было и в медалях была бы вся грудь.

По привычке я не обижался. Дивиденды от своей внешности, которая удачно совместила яркую красоту матери и мужественность отца, я получал регулярно. Меня освобождали от общеобразовательных уроков для участия в концертах, я приветствовал почетных гостей, вручал какие-то поздравительные адреса – одним словом, на какое-то время стал лицом училища. Не могу сказать, что это мне нравилось, но рутинной учебной жизни меня не допекали. От чего я никогда не отказывался и никогда не пропускал, так это занятия танцем.

– Надо иногда себе и отдых устраивать, – выговаривала мне Татьяна Николаевна, – разве можно такое расписание выдержать.

Я только улыбался – что в этом тяжелого – два урока русского языка, два урока литературы, два урока классического танца, обед и два урока «исторического танца»? Ну да, ноги болели, пальцы немели, но я обожал это ощущение силы и собственной выносливости, ощущения послушного тела, легкости, прыгучести. Я был горд собой, своими достижениями, был горд тем, что именно мне из всего выпуска пророчили успех.

К окончанию училища я подошел с несколькими сольными партиями, небольшой грыжей позвонков и с сумасшедшей влюбленностью в девушку по имени Вероника.

Одно из негласных балетных правил – танцевать сможет тот, кто обладает природными физическими данными, упорством и обаянием. При приеме в училище всегда обращают внимание на внешность. Таким образом, как легко представить, симпатичных девушек в училище было предостаточно. Но мы «балетных» не любили. Мы столько раз танцевали с ними дуэтом, столько раз репетировали выходы, столько станцевали спектаклей. Мы видели их на уроках, в столовой, в библиотеке. Мы знали недостатки их характеров, их предпочтения в еде, их капризы. Они перестали быть загадкой еще за три года до окончания училища. Мы видели в них скорее сестер, но никак не объекты влюбленности. Мы любили «городских». Любили пухлых, щекастых девушек, которые уплетали булки с мороженым, не боялись застудить ноги, имели крепкие толстоватые бедра и мягкие плечи и руки. Любили то, что было для нас далеким. Вероника была именно такой. Когда я пригласил ее к нам в дом, она за обедом съела кусок пирога с фасолью – необычное, но очень вкусное коронное блюдо Татьяны Николаевны, тарелку борща, пюре с котлетой и чай с пирогом. Жена отца радовалась, а мне оставалось

только налегать на отварное куриное мясо, цветную капусту и, как награда за воздержание, кисточку белого винограда.

– Господи, да я уже отвыкла, чтобы так изумительно ели, – только и произнесла Татьяна Николаевна, глядя на мою подругу

– Твоя мать классная и отлично готовит, – сказала Вероника, когда я ее провожал домой. Я не стал ее поправлять, только думал о том, как бы этот пронзительный мартовский вечер не заканчивался. Как бы не опускались сумерки на каналы, на темные стволы деревьев и студёный ветер не выбеливал льдом мокрую мостовую. Мне очень не хотелось, чтобы эта девушка с румяными щеками исчезла в подъезде своего дома.

– Погуляем еще? – Я уже видел перекресток у ее дома.

– Ты с ума сошел?! Холодно же, пойдем лучше ко мне.

Я замер. Этого приглашения я ждал давно, целых три месяца. Мне хотелось посмотреть, как живет Вероника, мне хотелось оказаться с ней наедине, присмотреться повнимательнее, прислушаться к тихому голосу. Впрочем, я не обманывался – несмотря на тихий голос и внешность школьницы-отличницы, Вероника была намного опытнее меня. Она училась на втором курсе университета, ездила в географическую экспедицию и по телефону знакомым мужчинам говорила «не гони», в смысле – не болтай ерунду. Мне она понравилась именно тем, что была совершенно не похожа на моих одноклассниц, на девушек интересных, но каких-то одинаковых.

– Ну, если не помешаю... – Я глубокомысленно разглядывал идущего по тротуару обшарпанного кота.

– Кому? – спросила Вероника насмешливо. – Ты же отлично знаешь, что у меня дома никого нет.

Я действительно это знал, и это знание не давало мне покоя. Фантазия рисовала оргии, в которых участвует моя любовь и куча «географических» мужчин.

Мы просидели у Вероники весь вечер и часть ночи, пришлось даже звонить домой и объяснять обеспокоенной Татьяне Николаевне причину своего отсутствия.

– Слушай, скажи честно, ты с этой своей внешностью, с этими «золотыми кудрями», ты что, никогда не был с женщиной? – Девушка смотрела на меня поверх чашки и явно забавлялась.

Я смутился почти до слез. У меня не было женщины, я только целовался с одной случайной знакомой, а о близости думал содрогаясь – очень боялся ударить в грязь лицом.

– Я очень занят в училище. – От растерянности ответ вышел дурацкий.

– Тогда вот тебе полотенце, топай в душ, а я пока постелю... – Вероника вручила мне пахучее мохнатое полотенце и стала деловито встряхивать белье.

Забегая вперед, скажу, что Веронику, в которую я влюбился и которой был готов служить, как раб, увел у меня мой друг Егор. Увел с такой же злой гримасой, с которой танцевал свой первый танец перед приемной комиссией. Увел из вредности, шкодливости, зависти. И я, который ему прощал все выходки, на этот раз не простил. Не потому, что я был так безумно влюблен, а потому, что посчитал, что время детских игр закончилось, настало время ответственности за свои поступки. Мы с ним не разговаривали почти три месяца – все то время, пока он встречался с Вероникой. Но в один прекрасный день Егор встретил меня на полпути к училищу.

– Слушай, Пломбир, – как ни в чем не бывало обратился он ко мне, – после занятий заскочим на Невский? Кое-какую фигню в магазинах надо посмотреть.

– Ну, можно, – ответил я сурово, но в душе был рад, что дружба восстановилась. Через эти три месяца девушка Вероника мне уже не казалась такой желанной, а друга, хоть и такого вздорного и злого, мне не хватало. С Егором было трудно – ко всем его недостаткам приме-

шивалась некая доля цинизма. Но эта гремучая смесь была привлекательна, потому что за ней чувствовались сила и характер.

Кстати, в самый тяжелый момент, когда я страдал из-за ветрености подруги и вероломства друга, у меня в союзниках оказалась Татьяна Николаевна. Видя мои переживания из-за первой любви, она вздыхала, подсовывала виноград и финики, а однажды вечером в приказном порядке повела в кино. Это было странно – взрослому парню идти в кино не с другом, не с девушкой, даже не с отцом, а с ней, Татьяной Николаевной. Было странно вместе ходить по фойе, сидеть в зале рядом, а потом идти пешком, почти через весь центр, домой. Впрочем, именно из-за этой пешей прогулки была и задумана культурная вылазка. Пока мы шли, я выговорился, задал все вопросы, сам же на них ответил, выслушал кучу историй, которые меня насмешили, удивили, отвлекли. Во время этой прогулки я обратил внимание на то, что скоро зацветут тюльпаны и черемуха. От увиденного фильма в моей голове не осталось ни кадра, от той прогулки осталось воспоминие весенней легкости и счастья.

## Глава третья

На выпуск приехала мать со своим мужем, коротким и квадратным человеком. Она была дорого одета, в больших украшениях и стала еще красивее, чем раньше. Во всяком случае, мне так показалось. Она расцеловала меня и долго не выпускала из объятий. Выглядело это смешно – я был выше ее на целую голову. У отца, когда он ее увидел, даже перехватило дыхание. «Господи, еще не хватало каких-нибудь трагедий!» – подумал я, опасаясь, что жизнь, которую в доме с таким трудом наладили, могла рухнуть в один момент. Мы с Татьяной Николаевной, как люди, понимающие друг друга с полуслова, переглянулись.

Опять же, я не помню деталей – только выпускной спектакль, овации, дипломы, похвала педагогов. Когда говорили обо мне, упомянули родителей, и мать, довольная, поднялась со своего места, чтобы ее все увидели. Ее увидели, и по рядам прошел шепот. Мои домашние тайны прекратили существование в момент окончания училища, но мне было все равно. Предстоящая жизнь была уже совсем взрослая.

Я не покидал Академию, оставался получать высшее балетное образование, мне предстояло танцевать в одном из питерских театров, предстояло оставаться жить в этом городе. А мать опять уезжала. На прощание она всем подарила сувениры, долго благодарила Татьяну Николаевну, звала меня к себе. Это все было искренне, только вот то, как она посматривала на отца, мне не нравилось. В этом взгляде был вызов, кокетство и отчаяние. В этом взгляде была жалоба. Жена отца это видела, но оставалась спокойной.

По случаю окончания училища и в честь приезда матери Татьяна Николаевна устроила обед. Большой стол раздвинули, вытащили огромную белую скатерть, невероятное количество посуды. Я рассматривал все эти соусники, салатники, блюда, графины, принохивался к запахам из кухни и не переставал удивляться этой способности подчинять себе обстоятельства. Это было свойство выдержанного и мужественного человека. Привязавшаяся ко мне за это время, сейчас она щедро и великодушно предоставляла меня моей матери. Она, устроив эту суету, всеми силами подчеркивала, что приезд соперницы-разлучницы – это самое главное событие, что ее здесь ждут, уважают и ни в коем случае не претендуют на ее место. Любая другая женщина могла мелко отомстить матери, покинувшей своего ребенка, отомстить показной лаской, выпяченной привязанностью к этому самому ребенку. Любая могла бы так сделать, но только не Татьяна Николаевна, которая ушла в тень и выполняла роль хозяйки дома. За столом царили моя мать и отец. Именно они чувствовали себя героями – именно их сын отлично окончил балетное училище, именно их сын получил приглашение в нашумевшую постановку, именно их сына хвалили во весь голос преподаватели. Случайно или намеренно, родители объединились за этим столом в семью. Деликатность, присущая отцу, куда-то исчезла – то ли присутствие матери, еще больше похорошевшей, то ли воспоминания о прошлом сыграли злую шутку. Я же за этим столом понял одно: никогда в моей жизни не будет безмятежного душевного спокойствия, всегда среди тех, кто мне дорог, будет кто-то, кого случайно могут обидеть.

Мать в Питере была почти десять дней, и я все ждал момента, когда она начнет расспрашивать меня о моей жизни, о том, что произошло за эти годы. Мне вдруг захотелось и похвалиться перед ней, и пожаловаться, и рассказать какие-то незначительные мелочи. Но эта беседа так и не состоялась. Вернее, мы сделали попытку, но слишком долго не виделись, слишком многое не знали друг о друге, в разлуке мы повзрослели-постарели. Рассказать нам было что, но этого было так много и так издалека надо было начинать, что каждый из нас почувствовал душевную скованность. Разговор не состоялся – родственность осталась, тепло исчезло.

Для многих окончание школы – это веха, рубеж, после которого со всей очевидностью начинается взрослая жизнь. Для меня новая жизнь началась в старых стенах, рядом со знако-

мыми преподавателями и кое-кем из соучеников, я по-прежнему танцевал в школьном театре и на большой сцене Мариинки. Почти все вокруг меня оставалось прежним, только я стал студентом Академии балета. Мне пророчили карьеру если не блестящую, то заметную и скорую. В доме радовались моим успехам. Переход на второй курс Академии совпал с моим дебютом в Мариинке. На спектакль пришла вся семья, прилетела даже мать.

Татьяна Николаевна, развлекаясь, вырезала заметки о моих выступлениях, посещала все концерты, интересовалась репертуаром. Она все так же заботилась обо мне, рассовывая горький шоколад по моим карманам, делая утром «диетическую овсянку» и ожидая меня по вечерам с витаминными салатами. Она покупала мне рубашки, носки, записывала на прием к врачу, искала хороших массажистов – она была моим ангелом-хранителем, если, конечно, ангелы справились бы со всем, что успевала делать Татьяна.

В тот год зима была очень слякотная. И весь город, казалось, был выпачкан каким-то мазутом – машины, дороги, ограды, даже люди. Вообще, этот период я вспоминаю как самый светлый. В моей жизни все шло на удивление гладко – учился я почти на отлично, было несколько удачных выступлений и в моей жизни опять появилась мать. В этот год мать приезжала в Питер раз пятнадцать, словно не могла удержаться, усидеть дома. Летая теперь самолетом, она тратила на дорогу всего несколько часов и пользовалась этим. И встречал ее всегда я – она сама об этом просила. Я был рад ее видеть. И на этот раз, встречая в Пулковом, отыскав ее в толпе, замер в восхищенном удивлении – казалось, возраст – ее союзник, который только добавляет ей красоты и того, чего, как я теперь понимаю, ей не хватало в молодости, – тонкости. Навстречу мне шла роскошная женщина, на которую заглядывались все без исключения.

– Привет, ты – копия отца! – сказала она то, что говорила каждый раз, целуя меня при встрече.

– Ты надолго?

– На пару дней. – Мать улыбнулась счастливой улыбкой.

«Она рада мне, она скучает», – подумал я. И тут же мне стало неудобно за все претензии, которые я мысленно предъявлял ей.

– Почему? – спросил я ее в машине.

– Дела, но я постараюсь прилететь в следующем месяце, я теперь буду часто бывать здесь, – ответила мать, рассеянно глядя в окно.

Я довез ее до маленькой гостиницы, помог обустроиться. Обычно мать передавала Татьяне Николаевне кучу всяких банок и баночек – с малиной, медом, ежевикой и грибами.

«Отвези, передай привет. Сам понимаешь, я не буду заглядывать туда. Что уж нервы друг другу мотать!» – обычно говорила она, и из этой реплики я делал вывод, что, несмотря на прошедшее время, на внешнее спокойствие, напряжение осталось и вряд ли когда-нибудь исчезнет.

– Я так внезапно собралась, что не успела ничего взять – ни варенья, ни грибов. Так неудобно! – на этот раз развела руками она.

– Господи, да о чем ты?! Скажи лучше, когда ты все-таки зайдешь на Литейный?

Я обратил внимание, что отец, радующийся ее визитам, держится ровно, естественно, доброжелательно. Точно так же выглядела и Татьяна Николаевна. Все вместе мы производили впечатление счастливых людей. «Как будто мы все повзрослели!» – однажды подумал я.

Мать покачала головой:

– В этот раз не получится! Мне столько поручений надавали, и все надо выполнить! А с тобой давай завтра вечером увидимся здесь?

– Конечно, я после занятий приеду. Отец знает, что ты здесь?

– Нет, я не стала ему звонить. Всего два дня, полно дел, и самое главное – с тобой надо повидаться.

Я против своей воли расплылся в улыбке.

В течение дня у меня были занятия и две репетиции, освободился я только поздно вечером. Мы немного погуляли, потом сидели у нее в номере, она рассказывала о своей жизни и вспоминала то время, когда я был маленький, а отец нас навещал три раза в неделю. Я слушал, хотя сам эти воспоминания не любил, но прервать мать не мог, понимая, что в них она черпает силы для теперешней жизни. В тех воспоминаниях у нее была не только любовь другого человека, но и своя.

– Заговорила я тебя. – Она выпроводила меня очень поздно. – Завтра мне надо в Удельную, там знакомые, им надо кое-что передать. Они меня и в аэропорт отвезут. «Там», – мать многозначительно покачала головой, – ничего не говори. Ни отцу, ни Татьяне. В следующий раз встречу с ними обязательно.

– Как скажешь, но, если что-то понадобится, дай знать.

– Конечно. – Мать поцеловала меня. Домой я возвращался расслабленным и почти счастливым. В моем сложно устроенном мире, похоже, воцарился относительный порядок – все было здорово и довольны жизнью. Как ни странно, с некоторых пор я чувствовал ответственность за всех этих «взрослых», которые запутали мою жизнь.

Домой я вернулся поздно, пройдя часть пути пешком – в этом настроении хорошо думалось.

– Как ты поздно приходишь со своих свиданий! – Татьяна Николаевна открыла мне дверь. – Впрочем, твоего отца еще нет.

Я рассмеялся, поцеловал ее в щеку и потребовал ужин. Мне очень хотелось поделиться с ней своим счастливым спокойствием. Мне вообще хотелось их всех как-то примирить раз и навсегда, так, чтобы они забыли о том, что произошло. «Господи, разберутся! Ты уже не ребенок, они – совсем не дети! У тебя скоро будет своя жизнь. Перестань беспокоиться!» – отмахнулась одна моя близкая приятельница, которой я рассказал нашу историю. Она была права. Второй курс Академии – это уже самостоятельная артистическая деятельность, это взрослая, деловая жизнь, со своими трудностями, интригами, переживаниями. И делиться этим всем мне уже не хотелось, это была уже только моя ноша, которая год от года должна была становиться все тяжелее.

И все же в тот год я стал счастлив. Объяснить сейчас природу этого счастья очень сложно. Внешне все было по-прежнему, никаких больших событий, никаких особых достижений. Но, выходя из дома и направляясь в Академию или в театр, я испытывал необыкновенный подъем. Я ощущал себя удачливым, свободным и независимым от домашних обстоятельств. Я почувствовал, что могу быть счастливым сам по себе, и это свидетельство окончательного взросления меня радовало.

В этот слякотный год я, идя через Мойку, увидел маленькую девушку, сидящую перед мольбертом. Я проскочил мимо нее, а потом вернулся, вспомнив любимую фразу отца, которую он бросал уличным художникам, а их в Питере предостаточно в любое время года. «Больше воздуха! Этот город состоит из воздуха и воды. А потом уже камни и чугун!»

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.